



1996 №7

# ВИКТОР КРИВУЛИН ГАМБУРГ КАК ЧАСТЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО МИФА



Изю всех знаменитых немецких городов, как ни странно, только, пожалуй, два - Гаммельн и Гамбург - сделали неотъемлемой составной частью петербургского мифа. Первый - как место действия легенды о Крысолове, легенды в высшей степени "петербургской", ибо именно в городе на Неве этот мистический сюжет приобрел в XX веке устрашающую реальность на фоне самоубийственного втягивания человеческих толп в жерло революций и войн под гипнотическую музыку флейт и барабанов судьбы. Опуштенный революцией Петроград виделся неким новым Гаммельном и беллетристу Александру Грину, и поэту Марине Цветаевой. О Крысолове писали и те, кто пережил бок о бок с крысами страшную блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны. Послевоенное поколение подпольных писателей-неоромантиков тоже не обошло вниманием зловещую фигуру Крысолова посреди Ленинграда, стилизованного под средневековый немецкий город (не опубликованная, но весьма любопытная повесть Тамары Корвин).

Что же касается Гамбурга, то петербургское прочтение его мифологии не столь однозначно, оно менялось на протяжении 150 лет вместе с эволюцией собственно петербургского мифа, который складывается не только из преданий, легенд и знаков, относящихся непосредственно к истории бывшей столицы империи. В эпоху "железного занавеса" традиционный петербургский миф обогатился новыми мифопоэтическими представлениями о физически недоступных рядовому советскому человеку больших городах закордонной Европы. Символом этой метафизической недоступности стал крупнейший сосед Ленинграда по Балтийскому морю - Гамбург. Географическое соседство двух наших городов и затрудненность какой-либо естественной связи между ними порождали странную аберрацию сознания, погружаемого как бы в особое смыслопорождающее поле, где круг ассоциаций, связанных с именем "Гамбург", расширялся тем глобальнее и всеохватнее, чем беднее становились реальные связи и представления о настоящем Гамбурге.

Когда в десятилетнем возрасте я прочел у Н. Гоголя в "Записках сумасшедшего" фразу: "Луну, как известно, делают в Гамбурге", - она не вызвала у меня ни смеха, ни сомнения, меня заинтересовала лишь технологическая сторона дела, ибо та дневная ленинградская луна, которая отчетливо просматривалась над

псевдоготической крышей кинотеатра, где полутайно демонстрировался "репарационный" фильм о Тарзане с немецкими титрами, - мутно-плексиглазовая луна эта была сделана на редкость загадочно и добротнo, ясно, что не "здесь", а где-то рядом, вопрос только в том, как, каким образом она сделана?

То был нормальный результат постоянно внушаемого нам чувства мессианской отторженности от всего остального мира - чувства, присущего, я думаю, подавляющему большинству подсоветских жителей. Это чувство сильнее, чем у кого-либо, было развито у ленинградцев. Политический изоляционизм интернационалистов-большевиков особенно болезненно сказался на духовном состоянии "русского окна в Европу", которое с закрытием границ после революции 1917 года как бы лишилось главной своей историко-географической функции. На окно в Европу опустился непроницаемый металлический намордник. Тусклая, забранная тюремной сеткой "лампочка Ильича" заменила естественное освещение.

Но и при этом искусственном свете осталась возможность читать. Таковая возможность была предопределена историей русского революционного движения. Будущая Россия виделась авторам социалистической утопии страной, где процесс чтения является основным и преимущественным занятием граждан, гарантирующим их счастье. Понятие "свет просвещения" понималось почти буквально - как освещение, достаточное для того, чтобы в любом медвежьем углу Государства Российского рабочие и крестьяне, предварительно пропущенные сквозь мясорубку принудительного обучения грамоте, вооружась очками, могли коротать долгие зимние вечера за чтением Белинского, Гоголя, Некрасова и Льва Толстого, а также столичных газет, которые сообщали бы обо всем, что происходит в большом мире, и в первую очередь - о неслыханных достижениях планетарной технологии и внутренней народной власти. Собственно говоря, грандиозный план электрификации всей России созрел в полутемных рavelинах Петропавловской крепости, где будущие хозяева коммунистической России поневоле вынуждены были уткнуться в книгу и таким образом, лихорадочно заглатывая разного рода полиграфическую продукцию, восполнять недостатки своего образования, прерванного, как правило, в самом начале - из-за радикальной политической деятельности.

Сидельцы-революционеры вышли на свободу с легкими, разрушенными нехваткой свежего воздуха, и зрением, навсегда испорченным штудированием книг из тюремных библиотек. Книга и тюремная камера в их сознании как бы навсегда совместились, превратились в близнецов-братьев, тем более, что библиотеки в российских центрах комплектовались превосходные - об этом свидетельствуют многие из моих знакомых, прошедшие сквозь следственные изоляторы КГБ и на время следствия получавшие неожиданный доступ к тюремным библиотечным фондам, практически не затронутым сталинскими чистками.

Однако повсеместно насаждаемая любовь к чтению стала фундаментальной ошибкой режима. Спустя десятилетия после победы большевиков мы продолжали читать и, даже не будучи заключенными, воспринимали этот процесс как некую единственно доступную форму тайной свободы. Мы путешествовали над книгой, будучи физически невыезными. Мы - я имею в виду людей моего, первого послевоенного поколения - узнавали мир с помощью типографских литер, и в конце концов мы стали абсолютизировать это сидячее знание. Всякая иная реальность, кроме книжной, представлялась сомнительной и недостоверной.

Так, сидя в своей угловой комнате с эркером, нависшим, как благоустроенное пулеметное гнездо, над перекрестком Большого проспекта и Пионерской (б. Гребецкой) улицы, я впервые оказался в моем Гамбурге. Это был вольный приморский город, откуда в императорский Петербург наезжали мастера, способные изготовить не только полувоздушную луну, но и солидную тяжелую мебель с причудливой бронзовой фурнитурой, готовой отразить - басовито и приглушенно, совсем по-генеральски - лунный свет, что свободно проникал сквозь широкие окна моей угловой комнаты - некогда она служила парадно-танцевальной залой в необъятной генеральской квартире. На стенах этой комнаты висели оранжево-золотистые, нежные китайские фарфоровые тарелки, изображавшие, как я потом, уже в зрелом возрасте, понял, сцены из средневекового романа "Сон в красном тереме" - о дворцовых интригах династии Цин. На обратной стороне тарелок можно было различить голубое фабричное клеймо - "Fabrique en Hamburg", и я, собиравший в ту пору экзотическую коллекцию марок из британских колоний, был убежден, что Гамбург (ударение на последнем слоге, финальное "г" произносимо) находится где-то в Китае, и что это, скорее всего, обособленный французский селтльмент на территории